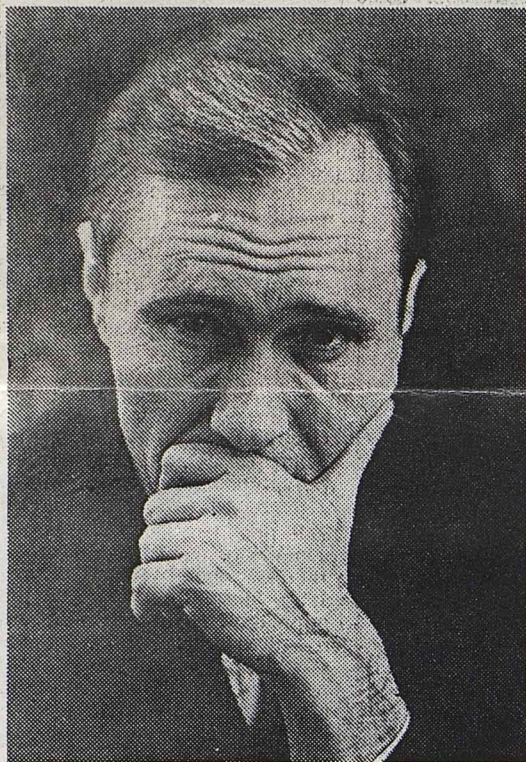


К 60-летию со дня рождения В. М. Шукшина

Из заповедей художника



● Добрый, добрый... Эту медаль носят через одного. Добро — это доброе дело, это трудно, это не просто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла!

● Критическое отношение к себе — вот что делает человека по-настоящему умным. Так же и в искусстве, и в литературе: сознаешь свою долю честно — будет толк.

● Человек, который дарит, хочет испытать радость. Нельзя ни в коем случае отнимать у него эту радость.

● Когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то хорошо». Когда нам хорошо, мы редко думаем: «Где-то кому-то плохо».

● За что человек не жалеет ни сил, ни средств, ни здоровья?

За удовольствия. Только в молодости он готов за это здоровье отдать, в старости — отдать удовольствия за здоровье.

● Те, кому я так или иначе помогаю, даже не подозревают, как они-то мне помогают.

● Никак не могу относиться к массовке равнодушно. И тяжело командовать ею — там люди. Там — взглядишься — люди! Что они делают?! И никогда, видно, не откажусь смотреть им в глаза.

● Никогда, ни разу в своей жизни, я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо — не позволил сшибить себя; плохо — начинаю дергаться, сплю с зажатыми кулаками... Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения.

● Всю жизнь свою рассматриваю как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из этих раундов надо выиграть. Один я уже проиграл.

● Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Если она была.

● Во всех рецензиях только: «Шукшин любит своих героев... Шукшин с любовью описывает своих героев...» Да что я, идиот, что ли, всех подряд любить?! Или блаженный? Не хотят вдуматься, черти. Или — не умеют. И то, и другое, наверное.

● Почему же позор тем, кто подражает? Нет, слава тем, кому подражают, — они работали на будущее.

● Сейчас снажу красиво: хочешь быть мастером, махай свое перо в правду. Ничем другим больше не удивишь.

Композицию подготовил
Анатолий САФОНОВ.

ЗАНОЗА

По дороге на съемку, когда в голове один за другим выстраиваются и рушатся кадры, мизансцены, подробности поведения, обычно бывает не до разговоров. Едем молча. Вдруг Макарыч, как мы его все звали, с досадой произносит:

— Нет, но почему все-таки «заец», а не «заяц»? Интересно, кому это так «слышится»? А если «заец», то как склонять: «вижу заеца»?

Пробую отшутиться:

— Не расстраивайся, Макарыч, у нас сегодня веселая сцена! Мне вот, к примеру, слышится: «заец». Так и буду писать.

— Ну и пиши! — он даже не улыбнулся. И еще через минуту:

— А если написано: «в лису» — это как толковать? Это флора, черт побери, или фауна?

— Как хочешь, так и толкуй.

— Да что это за язык будет, если все «как хочешь» да «как слышишь»? Как слышишь, так и пиши, как хочешь, так и думай!

— Надо пояснить, что разговор этот возник не на пустом месте. Наверное, мало кто теперь пом-

ланным собеседником, и каждый был готов говорить с ним о самом сокровенном, как на духу. А Макарыч все впитывал. Наверняка в его творчестве это находило потом то или иное литературное отражение. Это не бесспорно, но я, любя в нем и артиста, и режиссера, все же считаю, что самые высокие взлеты его таланта принадлежат литературе.

А самая большая для нас потеря — в том, что Шукшин написать не успел...

Если он не был занят в кадре, то неизменно доставал из-за пояса толстую общую тетрадку и, примостившись где-нибудь в тени (а то и прямо на солнцепеке!), принимался писать. Обычная наша съемочная суeta, шум и крики тогда для него не существовали. Он погружался в свой мир. И что, казалось бы, можно сочинить в таком тара-раме? А примерно через полгода появился новый сборник прекрасных рассказов...

Позовут: «Макарыч, в кадр!» Он тетрадь за пояс, под рубашку — и на площадке снова Жорка-рыбак, совершенно неотличимый от настоящих местных рыбаков, которых мы тоже привлекали к съемкам.

хочешь» да «как слышишь»? Как слышишь, так и пиши, как хочешь, так и донимай!.

Надо пояснить, что разговор этот возник не на пустом месте. Наверное, мало кто теперь помнит, что в 1964 году некими высокочинными учреждениями была затеяна крутая реформа русского языка. Предлагались лихие орфографические «упрощения» (писать — как слышится и т. п.), способные, вероятно, осчастливить любого двоечника. Но по сути такая «реформа» вела к полному развалу морфологии языка, неизбежной его деградации и в конечном счете грозила просто гибелью всему нашему великому языковому богатству. Это, конечно, не могло не водновать всех причастных к русской словесности и нас, кинематографистов, в том числе. И хотя в ту пору не очень-то прислушивались к общественному мнению, все же в печати велись споры. Иной раз горячие. Однако большинство статей с легкостью необыкновенной поддерживало предоставшие нововведения. Приводились примеры нового правописания: «заец», «ноч», «тиш», «карова» и пр.

Среди нас не было сторонников реформы. Но особенно она беспокоила Василия Макаровича Шукшина. Он сам признавался: «Словно заноза в душе засела».

Мы работали тогда в Крыму, снимали картину «Какое оно, море?» (по рассказу Н. Дубова «Мальчик у моря»). Жили в рыбацком поселке на окраине Судака.

Съемки — всегда дело трудное. Зато условия жизни были почти курортные. Море рядом, и впереди — целое лето. Он недавно с успехом сдал свою первую картину «Живет такой парень» и теперь снимался у меня в одной из центральных ролей.

Василий вызвал с Алтая, из родного своего села Сростки сестру Наташу с сыном и дочкой — «пусть море увидят, поживут здесь, окрепнут ребята». Их приезд был для Василия настоящим большим праздником. В свободные дни на море с ребятами они забирались в старую Генуэзскую крепость на крутой скале, откуда открывались для них непохожие, наверное, на алтайские, совсем новые горизонты.

Партнерами у Василия были прекрасные артисты: Николай Афанасьевич Крючков, Станислав Любшин, Светлана Дружинина, Вадим Захарченко, Лидия Федосеева (вскоре она станет Федосеевой-Шукшиной, а пока они только познакомились в совместной работе) и другие. Все бы хорошо, да вот — реформа... Прочитает очередную статью в газете, и опять желваки по скулам:

— Что ж, выходит, если «мыш» без мягкого знака, значит, склонять: «мыш, мыша, мышом» — так, что ли?

— Наверное. «О мыш» — тоже хорошо!

— Получается, слова теряют свой род! «ноч — ночем, доч — дочем»!

— Вот еще: именительный «рож», родительный — «рожи»!

Именно. «Выйду в поле — утону в рож»! — он чуть ли не скрипел зубами. Никольского его не забавляли эти словесные нелепицы. С такой болью и страстью переживать за судьбу родного языка мог, видимо, только человек особой писательской одаренности, особого душевного склада, для которого нет ничего — ни жизни, ни смысла вне языковой культуры родного народа.

В ту пору он не был еще знаменитым писателем. Не был, кажется, даже членом писательского союза. Но имя Шукшина уже входило в литературу, набирая силу, становилось все более известным. Вызревал замысел «Степана Разина» («Я пришел дать вам волю»). Он увлеченно (хотя и в скупых выражениях, без цветистых фраз — никогда ему не свойственных) рассказывал об исторических свидетельствах тех далеких времен. Дивился неукротимой, разбойной воли к тому, как это в кроткой душе россиянина способна таиться столь сокрушительная бунтарская сила.

В это же время замыслился большой роман «Любавины». Несколько раз он принимался рассказывать сцену погони волков за одинокими санями в ночной тайге. Похоже — опробовал. А вообще, по моим наблюдениям, Шукшин не отличался особой разговорчивостью. Сам рассказывал редко и мало. Но он умел так внимательно слушать, что всегда и для всех оказывался же-

Позовут: «Макарыч, в кадр!» Он тетрадь за пояс, под рубашку — и на площадке снова Жорка-рыбак, совершенно неотличимый от настоящих местных рыбаков, которых мы тоже привлекали к съемкам.

Иногда спрашивают, как проявлялся именно писатель в Шукшине-артисте. Самым непосредственным образом. Случалось, я призывал его на помощь: «Не клеится что-то, давай посоображаем». И всегда — независимо от того, занят ли он сам в данной сцене — Василий сразу включался в дело. Посмотрит раз-другой репетицию и непременно угладит слабину: неточную реплику, неточное слово.

Особенно запомнился такой случай. В одной из сцен фильма его герой — рыбак Жорка — знакомится с приехавшим на отдых интеллигентным молодым ученым, астрофизиком. Задает вопросы: «Где работаете? Кем? А что это за такая наука?» и т. п. Вроде бы все естественно и правильно, а сцена не идет. Не живут персонажи. После нескольких безуспешных попыток Макарыч вдруг заявляет:

— Не то говорим! Начать ему, Жорке, на эту науку. Где работает — какая ему разница? Надо вот что спросить прямо в лоб: «А большая у вас зарплата?»

В первый момент показалось, что он шутит. Но пробовали — и сцена ожила, «задышала»:

— А зарплата у вас большая?

— Да... хватает.

— А учиться долго пришлось?

— Пятнадцать лет.

— Ух ты-и!..

И покатилося...

Когда картина Шукшина получила «Золотого льва святого Марка» на Венецианском фестивале, из Москвы пришла поздравительная телеграмма. Праздновал весь поселок. Удивительно быстро он становился «своим» в любой среде. Вот и с рыбаками так сошелся, словно всю жизнь здесь прожил. И они, даже не зная толком, что за «лев» и что за фестиваль, радовались за него и шли с поздравлениями. «Ну, Макарыч, со львом тебя!» И неведомо откуда выплыла — последняя, наверное, — сортовая черноморская рыба: кефаль, султанка, щамая... Пришлось под этого льва устраивать выходной.

Вечерами мы часто пели. Это Макарыч очень любил. Нашей заповедью при этом было — «не орать», так чтобы слышать друг друга. Получалось негромко, зато стройно и задумчиво. Он обучил нас своим сибирским — «Миленький ты мой», «В воскресенье — старушка». Пели на слова Есенина, Некрасова. Когда он выводил на свой лад: «Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и божьей воле стал разумен и велик!» — казалось, вот это он и есть, сам Шукшин, — только маленький, как некрасовский школьник, — устремился в неведомый и долгий путь за наукой, знанием, светом, а возможно, и величием, и славой.

Однажды к нам приехал С. А. Герасимов из Коктебеля. Собрались у нас. Теперь уж пели и сибирские, и русские, и донские. Снимая «Тихий Дон» Сергей Аполлинаруевич сумел запомнить несметное множество казачьих песен (я вырос на Дону, а столько не знал!). Отвели душу — пели чуть не до утра. Устали, умоили. Вдруг Василий говорит совсем уж нехотая:

— Что ж, Сергей Аполлинаруевич, значит, теперь будем писать — «заец», «варона», «мидведь» — как там у них слышится в министерствах?

Все смутились. Потом Герасимов произнес пространную речь в защиту родного языка. Уверял, что подобного безобразия общество не допустит, ибо это конец всему — всякой культуре и интеллекту. Услышав это от человека авторитетного, занимавшего к тому же ряд высоких постов, Макарыч как будто успокоился.

Однако при встрече на следующий день он опять спросил:

— Ну что, значит, «за-ец»?

— «За-иц»! — упрямо сказал я.

Макарыч ответил молча: своей обычной, немножко грустной полуулыбкой.